

ЭФРАИМ
БАУХ



*Над краем
кратера*

роман юности

Эфраим Баух

Над краем кратера

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3020785

Над краем кратера. Роман юности: КНИГА-СЭФЕР; Москва – Тель-Авив; 2011

ISBN 978-965-7288-23-8

Аннотация

Судьба этого романа – первого опыта автора в прозе – необычна, хотя и неувидительна, ибо отражает изломы времени, которые казались недвижимыми и непреодолимыми.

Перед выездом в Израиль автор, находясь, как подобает пишущему человеку, в нервном напряжении и рассеянности мысли, отдал на хранение до лучших времен рукопись кому-то из надежных знакомых, почти тут же запамятавав – кому. В смутном сознании предотъездной суеты просто выпало из памяти автора, кому он передал на хранение свой первый «роман юности» – «Над краем кратера».

В июне 2008 года автор представлял Израиль на книжной ярмарке в Одессе, городе, с которым связано много воспоминаний. И тут, у Пассажа, возник давний знакомый, поэт и философ.

– А знаешь ли ты, что твоя рукопись у меня?

– Рукопись?..

Опять прав Булгаков: рукописи не горят. «И возвращается ветер на круги своя».

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1957 | 5 |
| 2008 | 7 |
| I | 11 |
| II | 36 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 79 |

Эфраим Баух

Над краем кратера

Роман юности

1957

Первое предисловие автора

Я взошел на корабль по намокшим к полуночи сходням,
Ощувив своей юности терпко-тревожный озноб.
Там бродили по палубе странные лики и сводни,
Приглашали на танец каких-то пугливых зазноб.

Но над пеной быстрин, от винтов убегающих в дали,
Ощутил я случайность своей еще сонной судьбы,
Райский вкус непонятной и солоноватой печали —
Чистоту одиночества среди суеты и гульбы.

На рассвете проснуться. На палубе грязно, убого.
Но внезапно у борта застыть, удивленье храня:
Прямо к сердцу из мглы подступает надёжно и строго
Гор громада, что знает и помнит меня.

Море в радужном духе кошачьи разводит рулады,

И корабль, как челнок, ткёт бескрайнюю ткань —
Колыханье Колхиды, Тавриды тавро, эластичность
Эллады —
Вносят в ткань эту щедро свою безвозмездную дань.

Я дышу этой памятью, словно рассветным озоном,
И, качаясь, несут эти волны, как будто весы,
Корабли Одиссея, руно золотое Язона,
Моих предков – купцов генуэзских,
Чьи с грустной горбинкой носы.

Эта боль на рассвете воздастся ли в жизни сторицей?
Незаставленность этих пространств —
Как удел, что теряется мной.
Семь небес различаю, и знаю – не повторится

Этот миг моей юности – пенистый след за кормой.
В голубые пещеры и в гор известковых каверны
Я спускался не раз, чтоб себя самого обрести.
Только тайны опасны, и волны морские коварны,
И такие рассветы с ума только могут свести.

Но еще не растрочена тайная страсть узнаванья,
Хоть душа коренится в беспамятной старине.
Я достаточно слаб,
Чтоб остаться в нормальном сознание,
Я достаточно юн,
Чтоб летать еще птицей во сне.

2008

Второе предисловие автора

Судьба этого романа – первого опыта автора в прозе – необычна, хотя и неудивительна, ибо отражает изломы времени, которые казались неподвижными и непреодолимыми. Но вот уже почти двадцать лет прошло с тех пор, как они канули в небытие.

Ничего в романе не было криминального или антисоветского, но сам его настрой и настой, меланхолически затаенное дыхание за частоколом строк, подобным борту корабля, через который – перепрыгнув, пойдешь на дно, ощущалось подозрительным издателями, верными церберами временщиков, опережающими нюхом самого бдительного цензора.

Автор всё это знал и писал роман «в стол», ибо столь же был остёр на нюх, как и церберы.

Написанный в шестидесятые годы, роман пролежал в столе до 1977 года, когда жизнь автора перевернулась подобно песочным часам (песок – важный и влажный элемент романа, поскольку речь о песке на берегу морском). Оказывается, не только море и небо отделяли автора от Израиля, куда он собирался отбыть.

Советская власть весьма «любовно и бережно» относи-

лась к Слову – будь оно в печатном или письменном виде, и с бдительностью на уголовном уровне отслеживало каждую бумажку, тем более, рукопись, могущую быть вывезенной за границу. Надо было прибегать ко всяческим, с годами совершенствующимся способам вывоза словесной «контрабанды».

Однако автор, находясь, как подобает пишущему человеку, в нервном напряжении и рассеянности мысли, висел между небом и землей, и отдал на хранение до лучших времен рукопись кому-то из надежных знакомых, почти тут же запамятовав – кому. В смутном сознании предотъездной суеты просто выпало из памяти автора, кому он передал на хранение свой первый «роман юности» – «Над краем кратера».

Шли годы, десятилетия, и автор не просто смирился с исчезновением романа, а «отчеркнул» его, согласно Пастернаку, что «надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой отчеркивая на полях».

Ровно тридцать один год прошел с того июня, когда, отчеркнув сорок три года жизни на земле, где «старался, землю роя, первым быть всегда во всём. Только тайный знак изгоя пламенел на лбу моём», автор очутился в Израиле.

В июне 2008 года автор, после написания семи романов за эти годы, представлял Израиль на книжной ярмарке в Одессе, городе, с которым связано много воспоминаний юности.

Так же, как в прошлом, светились «огоньки за Пересыпью». Кораблей не было видно.

Порт был пуст.

Двадцать первый век предпочитал не плыть, а летать.

А ведь эти причалы положили начало одному из великих феноменов XX-го века – созданию государства Израиль: отсюда отплывали пионеры, первооткрыватели земли Израиля – Эрец-Исраэль, которым это государство обязано своим возникновением.

В 2008 году мы праздновали его шестидесятилетие.

И тут, на ярмарке, у Пассажа, пред очи автора возник давний знакомый, поэт и философ. После объятий с ощущением его колючей библейской бороды и незначительной болтовни, которая почему-то, как ни странно, возникает после тридцати лет разлуки, вероятно, как защитная реакция от сильного волнения, он вдруг, как бы невзначай, говорит:

– А знаешь ли ты, что твоя рукопись у меня?

– Рукопись?

– Не помнишь? Ты же мне ее передал на хранение. Даже надписал какой-то израильский адрес на обратной стороне последнего листа.

Пути судьбы неисповедимы.

На следующий день едем к нему, на Ланжеронскую дорогу.

И вот она, в моих руках, копия рукописи, более тридцати лет хранившаяся среди его бумаг, которые он скрупулезно, до последней странички, перевез из Кишинева в Одессу.

Немного смешно и грустно, как в целях вящей безопасно-

сти, автор убрал тогда титульный лист: ни заглавия, ни фамилии.

Опять Булгаков, а с ним Воланд, кругом правы: рукописи не горят.

После такого ошеломляющего пассажа у одесского Пассажа, все дальнейшее в тот день – круглый стол на ярмарке под огромным тентом, интервью телевидению и радио – воспринимались как сквозь пленку.

В памяти автора горели слова Коэлета (Экклезиаста), которые заставлял его заучивать в одиннадцатилетнем возрасте, в оригинале, на древнееврейском языке, старенький ребе:

«.. и возвращается ветер на круги своя» (гл. стих 1, 6)

I

Гул безвременья

...Море. Звёзды в ночи. Волны скачут и бесятся.
Я на палубу вырвусь из сонных сетей.
Спит корабль. Только стоит над волнами свеситься —
Ты внезапно один среди звёзд и снастей —

Ввысь уходят так резко с гулом ветра и лопастей,
Где Медведица кажется краем гряды,
А внизу – тьма, смола, вознесенья и пропасти,
Желваки и развалы, и тяжесть – воды.

Только вот же, и волны мне кажутся сонными,
Раздаются так нехотя и не в пример.
В этот миг ощущаешь – болезнью кессонною
Мы раздавлены – тяжестью всех атмосфер,

И, как крабы, мы пятимся, плоски, не поняты,
А корабль лишь – игрушка, ковчег, западня.
Спичкой мачта безудержно чиркает по небу,
Но не может там высечь и искры огня.

Я один в этой тьме проявляю настойчивость
Докопаться до нас стерегущей беды —
Жизнь на миг открывает свою неустойчивость

На гигантских ладонях небес и воды.

Но ведь так ли, иначе – заложники судеб мы,
Лишь порыв и раскаянье нам суждены.
Все забились в углы этой утлой посуды —
Тело спрятали в щель, страхи спрятали в сны.

Только тени, что слабо очерчены вод стеной,
Что прозрачно безмолвны, тоскливо легки,
Всё – таясь и боясь как бы дерзости собственной,
Тянут снасти, но тайно и по-воровски —

И стараются тщетно, очнувшись от лени, от
От бездумного сна, от нелепости дум,
Повернуть на оси мощный остов Вселенной всей,
Что из власти их вырвавшись, прёт наобум.

...Ровен ход корабля – над волнами, над прошвами
Белой пены – что, кажется, время стоит —
С шумом в нем пролетает вся память, всё прошлое,
Всё, что было, что есть, что еще предстоит...

Отчетливо помню: за иллюминатором бугры буро-зеленых мыльных вод, потом ночной ветер в снастях, как будто тысячи примусов спиртово шумят на ветру, и частые металлические ржавые скрежеты в утробе корабля, когда он всеми своими ребрами и переборками принимал натиск волн; изредка – гулкие удары – так бьют куском железа по огромной

пустой цистерне. Удары я слышал и во сне. Проснулся, как от толчка – от мертвой неподвижности. В темноте нащупал двери. В слабо освещенном узком загибающемся коридорчике пахло жареным луком, прокисшими щами, давно замоченным бельем, а должно было – водорослями, йодистой свежестью. Нужно было немедленно, как чистый глоток воздуха, чтобы не стошнило от кухонных запахов, увидеть – море.

Я бросился по коридорчику, ткнулся ладонями в стенку, где-то сбоку пахнуло щелью: сквозь нее – вверх по лестнице. Снова стены, переборки, слабый свет, отовсюду несло запахом скученности, затхлости, жизни впритирку бок о бок с хронической непроветриваемостью и слежалостью. Наконец-то плеснуло в глаза солнцем, под ноги упало плоское далеко убегающее пространство палубы. Во всяком случае, по краям ее вился затейливый узор невысокого борта. Оказалось, полусгнивший деревянный заборчик с подтеками давнего дождя. Гора картонных ящиков с яркими африканскими наклейками стояла под тентом у края палубы, – это я точно помню. Теперь из-под тента в кривой мощный булыжник переулок тянулись замершие вдоль серых стен домов люди в будничной одежде, и продавщица в белом фартуке с красным от полнокровия лицом и крикливым голосом извлекала из картонных ящиков оранжевые марокканские апельсины, которые, несомненно же, должны были быть сюда привезены водным путем.

Когда же успели металлические подпорки, на которые на-

тянут тент, обвиться диким виноградом, порядком засохшим и покрытым многодневной пылью?

Когда ухитрились настелить на корабельные ванты длинные узкие доски, уже пропитавшиеся уксусом и другими едкими специями? Оттуда несло смесью дыма и мяса, жареного с луком, толпились люди, с аппетитом поедая шашлыки, тут же изготавливаемые.

Может я не до конца проснулся, и, еще оглушенный сном, так бежал, что не заметил, где палуба перешла в берег, крепленный булыжником?

Я еще и сейчас не очень соображаю: то ли город окружает меня, то ли множество кораблей так вплотную сошлось бортами, что и щели не отыщешь, откуда пахнуло бы запахом влажных днищ, набухшего водой дерева, арбузной свежести. Сошлось, срослось палубами, стало продолжением берега. Уже трава прорастает в щели палуб, мачты снова припомнили, что они – деревья, проросли ветвями. Снасти стали веревками для сушки белья, старушки добрались до рулевых колес и сделали из них прялки, а капитаны, некогда подтянутые и густоволосые, округлились, облысели, стали приказчиками, выставили над палубными надстройками вывески «Бакалея», «Мануфактура», рупоры для отдачи команд превратили в лейки, а медные рукоятки машинного телеграфа – в ручки для дверей.

Вчера весь вечер шатался по Одессе. С малых лет рваться к морю и – увязать в бесконечном сплетении заборов, домов,

деревьев, закоулков, тупиков города.

* * *

Тянет в детство, – прозрачен и холоден поток, – тянет, скашивает все мои тридцать два года, как порядком потрепанную сеть невидимым, но сильным и глубинным течением.

Да разве сбежать от того, что произошло вчера, посреди Одессы, на Греческой площади?

Медная ручка двери – первая вспыхнувшая в детской памяти, весточка корабля. Приказчик – человек, отдающий приказы, значит – капитан. И не просто приказчик, а главный приказчик, или управляющий, или хозяин – слова эти были очень в ходу в городе моего детства, где до сорокового года управляла румынская королевская власть, однако большая часть города говорила по-русски.

Сумеречные глубины магазина, где мы бывали с мамой, волнующий запах тканей, которые, конечно же, были заморскими, таинственные слова «сукна», «борта», «обшлаг», почти «овершлаг», в соединении с тяжелым из темного дуба полированным прилавком, в чьих плавных закруглениях, тусклом блеске и крепости угадывался корабельный борт. Особенно привлекало место, где прилавок упирался в стену – деревянная лесенка в люк потолка, на второй этаж, как на капитанский мостик. Вот мостик в моем воображении между кораблем и главой приказчиков, всегда важно сходящим

по этой лесенке.

Но что-то мне тут упорно мешало и смущало. Из всех должностей взрослых должность главы приказчиков, управляющего, казалась мне наиболее легкой по исполнению и трудной по подготовке. Только и требовалось – и это, по моему и составляло его работу, – с озабоченным, чуть высокомерным, но отчетливо достойным лицом с незавершенной и тщательно сверкающей лысиной, покручивать золотую цепочку на круглом выпяченном животе. И обтянут он должен быть брюками в широкую полоску. Обязателен шелковый жилет, подчеркивающий чернотой белизну манишки. И всего-то ему надо было прогуливаться за спинами простых приказчиков, важно кивать покупателям, – именно вся и была работа: прогуливаться и кивать.

Но трудно было стать управляющим, потому что столько от него требовалось, чтобы ему позволили стать управляющим: завести незаконченную лысину, отрастить живот, добыть золотую цепочку. В моем воображении это было труднее, чем живот отрастить, потому что кругом толстые животы были во множестве, а золотые цепочки редко, и человек бегал, как пес, высунув язык, в поисках цепи, и не простой, потому что только на золотую цепочку сажали управляющих, в отличие от псов. После надо было суметь показывать озабоченность, для чего тренироваться перед зеркалом, примерять разные выражения, чем я занимался, и не раз, пытаясь изобразить на лице то клоуна, то разбойника, то

умного, то осла. И я представлял, что в человеке живут все эти существа, раз они появляется на его лице, но что было у главы приказчиков главное – клоун или разбойник, умный или осел, я никак бы не смог узнать: ну кто бы, спрашивается, дал мне увидеть, как он стоит перед зеркалом?

И после столь долгих размышлений о главном приказчике я понял, что он не капитан, а совсем наоборот. Для капитана главное, чтобы корабль не сбился с пути и не наскочил на скалы, чтобы люди не погибли. Выходит, капитан больше о других думает, и думанье это такое важное и упрямое, что ему попросту некогда и не надо заниматься такими интересными глупостями, как обзаведение лысиной, отращивание живота, добывание золотой цепочки, примерка гримас перед зеркалом.

У капитана одно лицо – строгое, книжное, неукротимое. Скулы как скалы (нашел картинку в книге и, не сомневаясь, решил: капитан).

Правда, капитану не хватало того живого и дышащего разнообразия, которого в приказчике было с избытком. И я очень старался об этом не думать, а когда оно само думалось, испытывал то же чувство, какое бывало, когда что-нибудь натворишь, и никто не знает, и ходишь с трепещущим, так, что живот подводит, и сладким ощущением вины. Я трепетал перед капитаном, я свирепо себе навязывал почти захлебывающееся уважение к нему, я старался сбросить с себя вину, как в той же книге на другой картинке человек сбрасыва-

ет с себя горящую одежду. Я расцвечивал капитана невероятными значками, орденами, кокардами, ремнями, эполетами я даже пытался отца, которого очень любил, представить в этом великолепии, но одежда не спасала. Отец был глубоко сухопутный человек, у него было дело под названием «адвокат». Мама говорила, что он спасает других людей, но тогда мне этого было мало, потому что он носил очки, был худ, высок и потому всегда горбился.

Не забыть мне его лица, и того, как он держал в пальцах очки и, беспомощно улыбаясь и щурия глаза, восторженно махал солдатам Красной армии, когда они в запыленных гимнастерках и в касках строем шли через городок, а румынские королевские солдаты его покидали.

Через год он в такой же гимнастерке, также беспомощно улыбаясь и щурия глаза, протирал очки платком, успокаивал плачущую маму, говорил, что война совсем ненадолго, и горбился, горбился...

* * *

Через двадцать пять лет встречаемся в Одессе, я, глубоко сухопутный человек, и мой однокашник Юрка, друг детства, теперь – настоящий морской капитан. Случайно встретились, сидим на скамейке в Приморском парке. У Юрки то же, что в юности круглое румяное лицо, застенчивая улыбка (наш физик называл его «румяный царь природы»), массив-

ное тело и большие руки. Рассказывает о переделках, в которые попадал за годы службы, припоминая также медленно и основательно, словно бы извиняясь за тяжесть и неповоротливость своего ума, как припоминал заученное, готовясь со мной на нашем чердаке по экзаменационным билетам. Я был быстр, легок, все хватал на лету, а он медлителен, грузен, как слон, мишень для насмешек, обидчив до сопения, но отходчив до застенчивой улыбки, заливающей алым его и без того румяное лицо.

Я очень рад встрече, я скорее чувствую, чем понимаю, что он мастер своего дела, морской капитан, Юрка-слон, смиренный мой помощник на чердаке, нашем корабле, с недетской прилежностью поворачивающий ржавый обод. Есть ли что-либо в мире серьезнее, чем игра?

Смотрю на него во все глаза и, странно, пытаюсь отогнать от себя то же, что и в детстве, чувство вины. Но на этот раз не хватает мне в Юрке того, что тогда было с избытком – книжной неукротимости, бумажных красот, – не хватает потому, что они так ярко выделяются в обыденности, которая через Юру неожиданно и нежеланно соединилось с миром, заставляющим трепетать меня своей предполагаемой необычностью.

Или это просто заложенная в нас печаль по детству, по всему даже нелепому, что было в нем?

Или зависть, оттого, что в этом человеке видится мне еще одна несбывшаяся возможность, еще один упорно проруб-

ленный ход сквозь вереницу лет, заманчивое отверстие, которого мерцало передо мной, но я с обычной для меня лихой щедростью оставил его другому, и все – на лету, на лету.

И сейчас – на лету?

* * *

Мимо однообразного постоянства стен, учебы, посуды, забот о топке и хлебе. Мимо почерневших от дождя и снега заборов и разваливающихся от дряхлости дымоходов. Мимо изношенных хлюпающих ботинок, намокших ног, простуды, маминой встревоженной ладони на лбу, бабушкиных компрессов, тяжело пахнущих смесью мыла и спирта, мимо скудного зимнего солнца и ослепительно-сухого, летнего – к медной ручке дверей, малейшему движению которой подчиняется гигантский корабль, вырываясь из тяжело присевшего на корточки, упорно врастающего в землю города; к тягуче обволакивающему гулу огромного колокола в церкви за два квартала, в котором долгое напоминание и предупреждение: через всю жизнь; к мечущемуся, как черная лохматая птица, звонарю, мелькающему сквозь решетки в высоте; к позеленевшему от времени подсвечнику, оставшемуся на чердаке от прадеда; к огрызку стеариновой свечи, к языку пламени, вспыхивающему в сумраке чердака – и в пламени этом – все средневековье, вырывающееся из затхлой, пахнущей пылью и гарью чердачной мглы, вязанки тесовых дощечек, по-

крывающих крышу, как тома фолиантов; и в пламени этом – Жюль Верн и Стивенсон, и свистит за слуховым окном ветер в снастях – в проводах и стропилах, а небо уходит за край крыши, и земли не видно.

Все мимо и мимо, и дни крепятся и тянутся от медной ручки к гулу колокола. От колокола к свече, освещающей мглу, как подземные своды, и пламя которой иногда видишь и среди дня, и на нудном уроке. А особенно при скучном разговоре у родственников, когда ты, примерный мальчик, весь внимание и умиление. А там, в тебе – колеблется язычок свечи, и ты идешь, идешь, сквозь годы, к чему-то главному, самому главному, не по возрасту серьезному, и в гуле меди – напоминание и предупреждение об этом главном, которое смутно, но тем более величественно. И так – через годы детства – в юность, как будто готовишься к побегу из неподвижности, быта, привычек, замшелости – как роешь подкоп из тюремной камеры, – и колеблется в подкопе пламя свечи.

А время, как дым, уползает в щель между стропилами. Эту щель я открыл однажды, когда мне было семь лет. Она совсем узка, но если приникнуть вплотную – в размытом свете колышутся крыши домов. А дальше – клубящееся синее, но это – одна видимость, а настоящее – когда заходит солнце, заходит прямо против щели и затопляет ее таким яростным пламенем, что щель словно расширяется на глазах. И весь чердак начинает дрожать неверным и тревожным оранжевым светом, как бывает при вспышке молнии, но это тихо

и долго, и медленно угасает, и потому более тревожно. После молнии ждешь грома, а тут не знаешь, что ждет тебя среди слабо мерцающих стропил, балок и дымохода, похожего на диковинное неуклюжее животное.

Мне восьмой год. Я знаю несколько букв. Среди них – латинскую букву «К». Она мне по душе, потому что напоминает силуэт корабля, ставшего на попа. На балке, рядом с щелью, ножом, тайком вынесенным из кухни, высунув язык, вырезаю букву «К», похожую на русскую «С», корабль, который не тонет.

Я сижу у щели, куда уползает время, которого не видно, и только к вечеру оно вспыхивает: напоминание и предупреждение. Я сижу у щели, и мне уже двенадцатый, и в руках у меня настоящий артиллерийский бинокль с медным корпусом и черной зернистой кожей. К этому биноклю тянулась медленная дорога, с одного поезда на другой, через опаленные сухим солнцем дни июля сорок первого, которые в любой миг могли наполниться суетливыми ударами в рельс, сердце сжимало страхом, начинался грохот, свист бомб, крики и стоны. Дорога шла через леса и мирно колосящиеся поля, шла под солнцем, которое спокойно сверкало в водах, влекущихся под мостами вдаль, но везде и во всем было одно – война. А нас было трое – я, мама и бабушка. И как не норовило нас разъединить, разорвать, разбросать, мы цепко, судорожно держались друг за Друга и за свой скудный скарб, пока не очутились в глуши маленького села между ложбин и

холмов Поволжья. И там все годы войны мы только и думали о том, чем топить и чего поесть. И там, выйдя на крыльцо, я внезапно увидел в ослепительно-сухом, почти гудящем от солнца дне, как мама опускается посреди двора, как сотрясается ее ослабевшее и расплывшееся по земле тело. Так я узнал, что погиб папа – а вокруг стояли женщины из других домов. И старушка, наша соседка, которой я часто рубил дрова, когда я бросился к маме, пытаясь ее поднять, взяла меня за плечо и сказала: «Оставь, сынок, земляца, она добрая, всех успокоит».

* * *

Через село шли войска на Сталинград, останавливались на ночевку. Солдаты, молоденькие, стриженные, крепкие, славно пахнувшие, поймали меня во дворе, прижали кувшин ко рту, а в нем – сладкая вода из-под меда – надулся как лягушка.

В доме нашем ночевал старший лейтенант, утром проснулся – весь горит, бредит. Врач определил: мышинный тиф. Ушли войска, а он остался. Бабушка и мама выходили его. Когда прощался, всех расцеловал. Плакали – каждый о своем. Подарил мне бинокль и три книги – «Тайну двух океанов» Григория Адамова, «Сквозь дым костров» Валерия Язвицкого, и совсем редкую, пожелтевшую, с ятями и твердыми знаками, старую – «Илиаду» Гомера. Вот они, ря-

дом со мной, лежат стопкой в ящичке под стропилами, а я сижу у щели, и страшно мне и непонятно, как же: четыре года дымом утянуло в щель, погиб мой папа и многие из тех стриженных ребят, быть может, и старший лейтенант. А буква, коряво вырезанная мной, ни чуточки не изменилась, почернела, и только. И в щели также яростным пламенем тихо и медленно угасает время, и в этом – напоминание и предупреждение.

А мне двенадцатый, и я запоем читаю «Илиаду», многого не понимаю, но меня, как оранжевое беззвучное пламя в щели, тяжело и непонятно волнуют эти длинные грузные строки, ползущие по желтой бумаге, сплошь просмолённые ятями и твердыми знаками, как днища кораблей, которых уйма движется к Трое. И я с упоением перекаत्याю, как камешки во рту, имена земель и градов – Аргос, Коринф, Платея, Микены, Пилос. И все они выстраиваются и соединяются в нечто солнечно-влажное, гомеровское, пиршественно-счастливое, несмотря на кровь, хруст суставов и звон доспехов. Слово «Элион» перекликается со словом Элиста, городом, из которого тот самый старший лейтенант Пантелей Иванович Перминов, сделавший на первых листах книг надпись «Элиста.39. П.И. Перминов». Но дальше, дальше – как продолжение, всплывают, выстраиваются грады и веси, узловые станции и станицы. Раздельная, Кучурганы, Знаменка, Миллерово, Серебряково, Ясиноватая. И это должно соединиться в нечто нежно и снежно-серебряное, милое, ясе-

нево-тополиное, в прозрачный пух, в серебро солнца. Но соединяется в рваный остов горящего под насыпью поезда, в прогорклую гарь, заволакивающую серебро и ясень, такую плотную, что день подобен негативу, где белое – черное, а черное поседело, и не тополиный плавает в воздухе пух, а из перин и подушек, разбросанных вокруг горящего товарняка. Погибших не видно, их уже убрали. Потому безмолвно повисший в горелом воздухе пух еще страшней. И всё это становится частью «Илиады», она свободно умещает разбухающую столетиями историю, стоит на всех извилистых путях моей памяти, по которым берут разбег воспоминания, неизвестно где переходя в выдумку, стоит на всех путях – как мельком увиденная на беженских дорогах и врезавшаяся в память церквушка на пригорке у леса, словно макароны втягивающая в себя колеи нескольких дорог. И втягивает «Илиада» в свои бесконечные строки и серебряные стержни ясеневых дней, на глазах превращающиеся в обугленные стержни войны, и реку, которую мы переходим через понтонный мост, и, кажется, вода хлопает под ногами. И я со страхом стискиваю мамину руку, а вокруг все с испугом и надеждой повторяют: «Дон, Дон, Дон...», и это звучит в моих ушах, как звук колокола в детстве, вязкие раскаты меди – напоминание и предупреждение.

Медь, любой предмет из нее – с раннего детства для меня мгновенная возможность для побега.

Я совершил нехороший поступок: подстриг кошке усы.

Вообще-то я мечтал к кончикам усов поднести горящую спичку, чтобы увидеть, как они закручиваются колечками, но боязнь пожара, которую в меня вбивали с того мига, кажется, как я первый раз сказал «мама», пересилила, и я ну только чуточку подстриг их. Я уже получил от мамы пониже спины. Теперь в столовой папа, противник такого способа воспитания, читает мне нотацию. Я стою у дверей, глаза опущены вниз, лицо выражает отчаянную степень раскаяния, но папа не знает, что за спиной я ухватился за медную ручку двери и, значит, давно уже совершил побег, меня уже здесь нет, — я — на капитанском мостике, все матросы с лицами соседских мальчишек подчиняются мне, мы рассекаем волны открытого моря, и на палубе корабля вольно разгуливают кошки, но все с подстриженными усами.

По вечерам, когда мы садимся всей семьей к самовару вокруг стола пить чай, наступает час воспитания. У меня к нему уже приготовлено необходимое выражение лица: не слишком внимательно и не слишком умильно, а, если можно так сказать, уважительная степень сосредоточенности. Едим мед, прихлебываем из блюдечек, говорит папа, говорит мама, а я уже давным-давно в бегах: невидимо для них вращаю ручки медного самовара, шипит пар, свистки, работает машина, в искривленной, сверкающей медью поверхности самовара отражается мое лицо, а за край самовара, который благодаря кривизне уже и земной шар, уходит, постепенно исчезая, мой корабль.

Самовар – зеркало моего детства. Я не помню себя в обычном зеркале, хотя подолгу перед ним гримасничал. Но зато четко помню себя в кривом зеркале самовара – выпуклая часть лица, огромный нос и убегающие вбок глаза, как пара насекомых, которые, помахивая ресничками, соскальзывают по кривой блестящей поверхности. Также помню свое лицо, отраженное в новогодних шарах с удивительно искривившимся празднично вытянувшимся пространством комнаты. Под монотонные голоса добрых моих родителей, не подозревающих, в каких широтах я ожидаю шторма, под мирным светом абажура, я думаю о том, что медь и мёд, который я ем с ложечки, вещи близкие и по звуку и по цвету. Медовый бок самовара и медная прозрачность мёда. На всю жизнь у меня к меди примешивается вкус мёда, и в слове «мир» – уютное соседство меди и мёда при мягком сиянии абажура монотонный разговор папы и мамы. Пока мне восьмой. Презрев уют, я борюсь со штормом, вращая ручки управления корабля, то есть, самовара.

И не знаю, что совсем-совсем скоро всех нас подхватит такой шторм, что в нем погибнет папа. А мы, втроем, цепляясь за обшивку товарного вагона, вжимаясь в тюки или в сухие пыльные травы у железнодорожной насыпи, держась за борта полуторок, как за щепки, крутящиеся на гребне девятого вала, вырвемся живыми из волн бомбежек, неожиданно накрывающих с головой.

И после тяжких четырех лет вернемся в родной город,

найдем целым свой дом, и щель на крыше, и вырезанную мной букву, и кем-то заброшенный за дымоход полусгнивший абажур – все, что осталось от мирного островка, который очерчивался его световым кругом.

* * *

Я роюсь в хламе и радуюсь тому, что не всё еще потеряно, что вновь найденный подсвечник прадеда как и встарь мгновенно раскрывает передо мной своды подземелья, а медный тазик, в котором бабушка варит повидло, уводит в благородные времена рыцарских турниров: тазик-щит и меч деревянный.

А "Илиада" уже с щедростью невероятной, роскошной, раскрывает ослепительность и разнообразие меди – это мой первый проход сквозь плотную кладку строк – не вижу четко людей, но сплошное пиршество меди бесконечно расплетающийся чеканный рельеф меди, множество фигур, «при движении воинств от пышной их меди чудесный блеск лучезарный кругом восходил по эфиру до неба»: доспехи, поножи, медные латы, медные перси. Слова начинают ветвиться, расти в нежеланном направлении – «медью одеяиные, быстро блестящие», наконец – «выпуклобляшные» – что-то слепое, медное, сплошная стена, а папа без всякой меди, в одной гимнастерке, горбится, устало вытирает платком очки, оглядывая мир близоруким взглядом.

Нужно остановить, нащупать трещину в медной стене, и я хватаюсь как за соломинку, за копьё «медножалое». В жале – пчела, мёд цветы, лето, солнце. А слова набегают, накапливаются «медянодоспешные, медяный клинок», да, да, но клинком можно резать куски меда вместе с воском, чтобы прекрасный кусок лета хрустел и стекал по пальцам медом.

Тогда для меня медь – младенчески сверкающее чудо, когда сочетается с мёдом в соседстве, которое, как в янтаре, закрепил мягкий свет абажура вместе с блюдцами, самоваром, скатертью, папой, мамой, бабушкой и мной, – этот кусок янтара светится в моей памяти на всю жизнь, как самое драгоценное и печальное.

Но в двенадцать и позже, в отрочестве, хвалу куску быта, как сладким мёдом облитому розово-абажурным сиянием, я посчитал бы изменой в пользу приказчиков: между ними и капитанами я поделил мир, и первым делом, познакомившись или подружившись с кем-либо, набрасывал мерку: приказчик или капитан.

Сiju у предзакатного моря на пустынной гальке, верчу окуляры бинокля, лежащего на коленях, гляжу бесцельно вдаль, а видится мне слуховое окно нашего дома – не более кончика булавочной головки, а крыше – меньше ногтя, да еще и колышется, иногда совсем расплывается. Отделяет меня от них сизый дым, топкое пространство в двадцать пять лет, по которому ухитрился пройти как посуху, не такое и чудо, чтобы за это – в святые, когда тонуть надо, и не раз,

чтобы обрести себя.

Не это ли бесплотное море, не этот ли дым времени, от которого тело начинает пахнуть одичалой скукой однообразия, пытался я одолеть, все детство и юность вырываясь из замшелости города?

Одолеть-то одолел – до того оказалось посильно, что лишь потом спохватываешься: да вырвался ли?

И сижу я в этот миг на Шестнадцатой станции Большого Фонтана, у самого моря, и с домашним любопытством, равнодушно поглядываю на поигрывающие мышцами, по дельфиньи поблескивающие спинами волны. И лишь то, что потерялось в памяти – крыша, слуховое окно, яркое пламя в щели, подобное стае летучих мышей, мечущихся и беззвучно сотрясающих чердак, – заставляет сжиматься сердце.

* * *

В клубке чувств, почти по-змеиному обхватывающих, вызывающих боль и тоску, – в этих родовых схватках возникающей души – не жаждал ли я прорваться через воды, обрести собственный отсчет времени своей жизни – роскошь, которой Эйнштейн в избытке наделил все физические тела во вселенной?

Но можно ли представить себе мучения, порывы юношеской души – в виде звездного вещества, светящейся пыли, сияющих спиральных туманностей. Хотя разве не они и есть

в нашей человеческой жизни ее звездное вещество, ее драгоценная и бескорыстно рассыпаемая светящаяся пыль, ее сияющие в тумане спирали?

Не первый раз, в замерших водах сумерек или в дорасветной бездыханности, когда даже камни спят, – в самые донные часы моей жизни с редким пульсом и слабым дыханием, – внезапно вынули пробки из ушей, хищно заострили глаза, в один мускул подобрали тело. И я, бегущий по своему ходу жизни, до потери дыхания остро и всего на миг обнаруживаю в ослепительный просвет сбоку – параллельный ход моего существования: всё время рядом, но другой, с иной более высокой температурой крови, более невыносимой, но более глубокой мерой счастья и равнодушия, любви и боли, взлета и падения.

И этот ход моей жизни, который схватываю, как более истинный, упущенный, упускаемый ежесекундно, – смертельно пуст...

«Кажется, пронесло», – думаю в следующий бездыханный миг.

* * *

Сиж у предзакатного моря. Наверху, в столовой дома отдыха ждет меня ужин, а я бесцельно кручу окуляры, вглядываясь в море.

В бинокле – оранжевое пылание – на черно-синем лезвии

горизонта.

В бинокле – размытый край, радуга.

Всегда примешивается радуга – радость, настолько сейчас неуместная, что заставляет в тревоге сжиматься сердце.

Кручу окуляры, раздваиваю изображение, как будто мерещится мне между двумя изображениями – щель: вход за кулисы воздуха – в собственную юность, в ее ушедшие, самые главные и уже невозполнимые возможности.

А между тем, есть же у меня опора, гигантский противовес охватывающему меня самоуничижению – Земля. На ней лежу в ночной этот час, перед тем, как пойти спать в комнату дома отдыха, лежу, заложив руки за голову, в суховатом запахе трав, вглядываясь в звезды. Земля покачивается и накреняется, как палуба корабля, земля, к которой причащен не только профессией геолога, но и остротой сопереживания. И в эти мгновения кажется, что переживаешь ее историю, как историю собственной жизни.

Не земля, схваченная сетью стен, заборов, заборчиков, лабиринтом проходов, тупиков, лазов и лестниц. Не земля недвижимым воздухом однообразно совершающихся дней, страусиной верой в прочность покоя, огражденного камнем, стеклом, одеялом.

И без этой земли человеку не обойтись, но когда она становится единственной его, прочной, на трех китах и семи слонах, человек уже и сам иное существо, может быть, по душевной дремучести подобное тому, как в наши дни пред-

ставление о земле на трех китах.

Не эта земля, а Земля, определившая мое влечение в юности, с которым я связан каждодневной работой в Каракумах вместе с другими, коллегами по Всесоюзному научно-исследовательскому геологическому институту, знаменитому ВСЕГЕи, работой, неотступно живущей во мне и тут, в дни отдыха.

Речь о Земле, схваченной иной сетью, которую изо дня в день плетут геологи, геофизики – служба Земли – плетут все гуще, сближая точку с точкой, узел к узлу. Это, по сути, круглосуточная вахта. Огромное пространство Земли одновременно. Лежу, затерявшись в ночи, а где-то, с Саяно-Алтайской складчатой области уже скоро день. Идет вахта с востока на запад, вокруг шарика – точка за точкой. И всего-то в каждой точке – измерить аномалию магнитного поля, аномалию силы тяжести. На первый взгляд кропотливо, скучно. Но соединились точки – и вот уже Земля пульсирует в сетях – в магнитном поле, гравитационном, термальном.

И сколь бы не был искушен в своем деле, с волнением читаешь карту гравитационного поля при свете уходящего дня с бескрайними, плоско замершими за пыльным окном казахскими степями. Представляешь, что в этой плоской тиши, на многокилометровой глубине под тобой, с медлительностью, трудно представимой для краткого человеческого века идет развитие разломов, и по ним – заметьте себе, – вся земная кора погружается к югу.

Так и ощущаешь весь напряженный, выгибающийся, прогибающийся, разрывающийся в глубине организм Земли – с ядром, мантией и корой. И недвижимая, такая прочная на взгляд и поверхностное знание, Земля, оказывается, дышит, погружается и вздымается.

Лежу на земле, раскинув руки, чуть прикрыв глаза, и клонится земля, покато накреняется. И в эти полудремотные мгновения, кажется, я один на один с Землей, как бы выпячен на самом выпуклом ее пяточке, лечу в пространстве, не зная отдельного дерева, дома, города, отмечающих мое местонахождение. Я знаю лишь, что я на Земле, выделен ею, и соответственно великодушен, снисходителен, широк и справедлив.

Но вот в тишине, и потому, кажется, совсем рядом – звякнули посудой. Легким ветерком принесло из столовой бранчливый говорок официанток, и тут же обозначилось рядом дерево, за ним – забор дома отдыха, вся дребедень ночных городских шумов, и, как огонек, бегущий по бикфордову шнуру, слабо и бегло осветило и выстроило дома, трамвайный путь, повороты улиц, суету, нетерпеливость. Быстро-быстро, Греческая площадь – взрыв, ослепление.

Не уйти от всего того, что вчера со мной на ней произошло. А огонек бежит дальше по шнуру, через годы, к Зеленому театру в городе студенческой моей юности.

Куда делась медлительность и широта, прочность в охват Земли. Весь я снова опутан, как рыба, сетью собственной па-

мяти, которую ткал для собственного же уловления.

И вряд ли земля со мной, выпяченным поближе к звездам, может в этот миг перевесить то, что было на Греческой площади или тогда, у Зеленого театра.

II

Юность: увеличивающие стёкла

...В забвенной дымке, в облачном бреду
Шумит арык на расстоянье метра.
Русалки водят хоровод в саду,
Поют и плачут голосами ветра.

Но то ль душа наивно молода —
Не понимает будущей печали.
Озноб рассвета. Темная вода
Качает утлый катер на причале.

В бауле фрукты, хлеб, два дневника.
А гребни волн возносят расставанье.
О, как же удивительно легка
Таинственная зыбь существованья.

Над головой Ай-Петри, Роман-Кош
И Демерджи – толпятся, с небом споря.
Вокруг меня ветшает Ялта, сплошь
Курортниками шаркая вдоль моря.

Оркестров галопирующая пруть,
Так лихо синкопирующих Листа,
Девчонки, что еще не могут скрыть

Наивности своей и любопытства,

Мужчины, что с любимым накоротке,
Не просыхают в пьяни беспробудной —
Всё замыкает в чуждом городке
Миг жизни,
Миг потерянности чудной...

Таится завтра за бурленьем вод,
Душа грустит и места не находит.
По трапу поднимусь на теплоход.
Отдав концы, навечно Крым отходит.

Винт режет воды, мощен и строптив,
Разматывая дни и расстоянья.
Я слышу ясно – в первый раз – мотив:
То с юностью навечно расставаньё.

И когда настигла она меня, юность?

И совсем не тогда, когда над классом нависает хриплый
клекот зоолога, рассказывающего о ястребах и орлах, а в пар-
тах идет напряженная жизнь, кипит невидимая суета. Пи-
шут записочки, письма, послания, скребут перьями бумагу.
Стреляют письмами, скатанными в катышек, из трубок, рев-
ниво следят, чтобы развернул тот, кому послано.

Чуткое ухо улавливает мышиный шорох бумаги. А зоолог
сидит вполоборота к классу, перекинув ногу на ногу, при-
крыв лицо ладонью, но между пальцами блестит весь в мор-

щинках его орлиный глаз. Внезапно, с легкостью, ошеломляющей для его грузности, роста и возраста, бросается между парт. Мыши разбегаются. В руках у него добыча: сложенная вчетверо бумажка. Лениво располагается на стуле, цепляет на нос очки, небрежно извлеченные из бокового кармана, те же хриплым голосом читает:

«Ты – мой идеал! Монтекристо», – смотрит на класс поверх очков и его передергивает, – Бр-р-р! Что с вами, уважаемые? На глазах портитесь. В прошлый-то раз хотя бы по-человечески: ты мне нравишься! А это что? Чушь, бредятина, шелуха книжная, фу-у... Не ожидал».

Захваченный врасплох, класс пять минут приходит в себя, испуганно слушая зоолога, как ни в чем не бывало продолжающего изображать хищных.

Но постепенно мыши снова выползают из нор. Это можно узнать по моей соседке Люде: начинает вертеть шейей. По-моему, она способна запросто повернуть ее вокруг оси. Дело в том, что она никак не может позволить себе пропустить нити связи, налаженные или только возникающие. Не знать интимных дел всех и каждого – сверх ее сил.

А в классе эпидемия посланий, эмоциональной активности. Можно представить себе нагрузку на ее шею. Недавно я и сам чуть не схлопотал по шее из-за нее. Два двоюродных брата Бори, сидящие на последней парте, безнадежно в нее влюблены. Но так как я сижу с ней и запросто беседую по праву абсолютно к ней равнодушного, братья сделали обрат-

ный вывод и уже второй раз присылают мне «ультематум», не смущаясь уровнем грамотности и не считая мужской беседы за углom школы.

Взрыв чувств, спортивная свирепость в желании перещеголять друг друга выражением их к особе слабого пола, эпистолярная лихорадка – всё это было скорее похоже на яростно вспыхивающую однодневную жизнь эфемер, о которых тоже повествовал нам зоолог. Да и мы сами могли видеть в долгий день лета на реке нашей внезапные хлопьевидные обвалы прозрачнокрылых эфемер. Они жестко стрекотали, сновали по водам на ломких ногах, устилая воду своими телами. Это была баснословная, свалившаяся с неба манна для рыб.

Это было повальное увлечение, быть может, инфантильное заболевание созревающих подростков обоих полов, предшествующее наступлению юности. Каждый считал себя просто ничего не стоящим, если не обзаводился адресатом и не имел возможности похвастаться получением ответа, каким бы тот ни был.

Слишком назойливым было рекламирование чувств, через полгода мучительно скрывааемых. Слишком категоричными были требования: не меньше, чем «на всю жизнь». Слишком прямолинейными были тексты: «Ты мне нравишься», «Давай дружить на всю жизнь», «Я не могу без тебя», «Ты – мой идеал». Как будто мы пробовали на ощупь, на голос, на пропись, на сочетание слов, которые еще так гладко,

красиво и легко произносились. Все упивались, пока можно, этой легкостью, инстинктивно чувствуя, что скоро за их произнесение придется платить сердцем, кровью и даже жизнью.

Были тексты, которые копировались, служа образцами. А два брата Бори даже писали – «Мы без тебя не можем». И всерьез обсуждали возможность дружить втроем на всю жизнь.

* * *

Когда же она настигла меня, юность?

Не в тот ли миг, когда, сидя рядом с Людой и списывая с доски, внезапно чувствую, что она смотрит на меня? И я так остро, до нытья в суставах, вижу себя ее глазами: худые бледные руки в чернильных пятнах, потные волосы после возни на перемене, неказистая рубаша, которую мама сшила из своего старого платья, а под рубашой длинное мальчишеское тело и слабая грудь. Вижу, и чувствую, как холодею, хотя щеки горят, и я готов провалиться сквозь землю.

Или скорее в те несколько минут, когда после уроков обнаруживаю на полдороги, что нет в сумке учебника по физике, бегу обратно в школу, и застываю на пороге класса. Жду, пока дочь уборщицы Таня, девица лет шестнадцати, часто помогающая своей матери, вымоет полы.

Нагнувшись, она ловко управляет с тряпкой, а я не отвожу глаз от нее, я вижу ноги ее выше колен, такие крепкие,

так неожиданно и молодо утончающие книзу и матово светящиеся. И я стою в дверях и намеренно выжидаю, пока она вымоет весь пол в классе, не отвожу глаз от ее ног. Я чувствую себя виноватым, и почти растворяюсь в блаженстве этой вины.

И она, я знаю, ощущает мое присутствие, хотя как будто и не замечает меня, но до того ловко, легко, играючи наводит чистоту в порядке надоевших мне стенах. И в непривычно пустынном классе, как никогда раньше и никогда позже, слабо и радостно пахнет свежестью, чистой водой, сухим солнцем, светящейся белизной крепких девичьих ног, когда, обдав меня прохладой, она проносит ведра, а я, покраснев до корней волос, чуть не влезаю головой в парту, ища запропастившийся учебник.

Она старше меня, где-то работает, но каждую неделю, раз другой, появляется в школе, и всегда я встречаю ее в неожиданном месте, не успев подготовиться, чтобы запомнить ее. И проносится летучий облик, до того светящийся, что сердце замирает. Неуловимо плавное скольжение девичьего тела обдает обжигающей прохладой, заставляет сжаться и ощутить, как цепенеют кончики пальцев на руках и ногах. И в самый темно-оливковый зной – младенческий овал ее молочных щек и подбородка с едва пробивающимся румянцем явственно окутан слабо колышущимся облачком пара, как будто только что их натерли холодным девственным снегом.

Глаз ее и волос не вижу, прячу руки за спину, потому что

охватывает и обессиливает, как внезапный голод, одно желание – прикоснуться ладонью к ее щеке или подбородку, почувствовать нежно ледящий огонь. Это наваждение преследует меня, пугает, унижает, доставляет блаженство, покрывает испариной, стесняет дыхание, и также неожиданно исчезает, как и возникло. С некоторым даже испугом обнаруживаю, что всё меня мучающее испарилось. Правда, Таня почти перестает появляться в школе.

Лишь однажды встречаю ее в центре города, вижу издалека: медленно идет мне навстречу, задумавшись, не замечая меня, и я могу вдоволь насмотреться на изводивший меня мягко ускользящий овал. Приготовившись к страху и стыду, ничего не испытываю. И так мне себя и ее жаль.

Отчего же так?

Может быть, среди приевшихся стен школы, в сумрачном коридоре, пропахшем не выветривающимся детским потом и влажными половыми тряпками, ее летучий облик подобен был явлению корабля в изматывающем однообразии детства? Но это же явление меркнет в городе, полном неожиданности за каждым поворотом.

Годами ходишь мимо желтого здания Управления торговли, и однажды, подняв голову, неожиданно видишь в нишах стен над окнами аллегорические фигуры женщин в длинных одеяниях, а одну из них – с повязкой на глазах, с весами в одной и мечом в другой руке, вспоминаешь: Фемида, богиня правосудия. Удивляешься: так вот где был старый суд, вот,

где работал мой отец. Столько я слышал об этом здании, но оно казалось далеким и разрушенным, как и рассказ отца о нем. Даже в голову не приходило, что каждый день по дороге в школу идешь мимо него.

Но это же разное – явление корабля, женской каменной грации в стенной нише и плавное скольжение тела, слабое сияние, будто нимб, вокруг девичьего лица, белизна ног выше колен.

Неужели и сейчас мне, тридцатидвухлетнему, признаться трудно, что тогда, в неполные пятнадцать, это было впервые во мне проснувшееся желание женщины. Желание ее непознанного, но до головокружения осязаемого обаяния, ее несравнимого ни с чем вокруг меня самого в себе прекрасного существования, ее бесстыдной смелости в том, как она идет, дышит, ослепительно смеется, обдает прохладой, своеволием, оскорбительной независимостью. И это пугает до того, что горло перехватывает в миг тающей тайной, затягивающей, как омут?

Но почему трудно? Стыдно? В пятнадцать лет, что ли, слишком рано, и запретительная механика моего воспитания пустила дымовую завесу – корабль, Фемиду? Таня – в облике Фемиды. Даже весело.

Или стыдно, что такой по силе и тонкости порыв я в испуге ухитрился поспешно и успешно погасить?

А мог бы повернуть меня к иной линии жизни, с более высокой температурой существования, потому что это было

впервые. Но я погасил в себе этот порыв и погрузился в спасительное однообразие. Потом это становится привычкой на всю жизнь. Условным рефлексом.

* * *

Ворох сомнений, смута, невнятность и необъяснимость охватившей меня тоски – будто я накануне нового состояния своей души.

Меня всегда страшит и притягивает, как спасение, эта накатывающая, накрывающая с головой, размытая, ускользающая из памяти, полоса между двумя состояниями, с фотографической отчетливостью встающими передо мной. Полоса эта, как прибой, пенистый, мутный, мешающий воду, камни, песок. Беспмятный хаос перехода. А по обеим его сторонам – чистое море и недвижно замершая суша. И вот я – худой мальчик, взъерошенный, бестолково активный. И вдруг – не заметил, запомнил, как поволокло прибоем. И стою с Другой стороны, совсем иной, трогаю пушок на подбородке, приглаживаю мокрые волосы, отряхиваю пушинки с брюк, по которым сам водил утюгом, готовясь идти в городской парк, где мы допоздна сидим почти всем классом. Стою и отчетливо вижу по ту сторону прибоя взъерошенного мальчика, и знаю, что это я, и не могу поверить.

А в парке летний воздух, пропах нагретой за день зеленью, и до того недвижим, что по-восточному причудливые

формы листьев кажутся вырезанными в его сгущающейся к ночи синеве. Сидим группками, иногда по двое, ведем бесконечные, изматывающие, перескакивающие с темы на тему, несвязные, но, как потом выяснится, действительно необходимые разговоры.

Неожиданно замечаю, что мне интереснее всего говорить с бывшей соседкой по парте Людой, которая тоже, неизвестно когда, сменила косички на распущенные по плечам волосы, и по-детски пытлиное и нескрываемое любопытство – на непривычную задумчивость в серых – что я лишь сейчас заметил – глазах. Разговаривает, а сама смотрит вдаль, словно тоже с удивлением вглядывается по ту сторону приборя в девочку с утиным носом и тонкой напропалую вертящейся шей.

И в парковых бдениях допоздна перед последним школьным годом господствует одухотворенность, не менее свирепая, чем год-полтора назад жажда перещеголять друг друга в амурных посланиях.

Задумчивый медленный свет тургеневских вечеров, разлитая в сумерках печаль, тургеневские мужчины и женщины дворянских его романов, томные, с тонкими бледными лицами – вот идеальная атмосфера и идеальные существа. К ним, так или иначе, пролегают русла наших разговоров – через обрывки прочитанных книг, увиденных фильмов, через собственные такие еще наивные, пленяющие своей беспомощностью, рассуждения.

Мы и вправду все словно переболеваем сонной болезнью мечтательности, не замечая девичьей прелести наших одноклассниц – их чудно округлившись коленами, их плавно удлинившихся шей, их замирающих, неожиданно притягивающих блеском и глубиной глаз. Им самим как будто не до этого. Оставшись вдвоем, часами бродим, не прикасаясь друг к Другу, и никак не можем выговориться. И нам кажется, что симпатии между нами возникают потому, что мы одинаково понимаем ту или иную книгу, героя, поступок.

Нас мучает навязчиво радостная готовность самопожертвования. Каждый жаждет оказаться третьим лишним, непонятым, гордым, одиноким. Но как быть, когда третьих лишних двое: всё те же двоюродные братья Бори?

Нравится ли мне Люда, не нравится? Но я всерьез хочу быть третьим лишним, и потому завожу с ней затейливые разговоры. Я знаю, она нравится Феликсу. Он симпатичный, скрытный. Разыгрывает из себя клоуна, по-обезьяньи ловок и быстр. Говорим о нём. Замечаю, что она его расхваливает, и уже наперед готовлюсь к роли третьего лишнего.

Дальше не помню. Снова внезапно с головой накрывает полоса прибой – десятый класс, изматывающая зубрежка, треволнения, страхи, выпускные, вступительные – и расшвыривает нас прибой кого куда. Люда уезжает в Симферополь, поступает в медицинский институт.

Спустя двенадцать лет, проездом через Москву, неожиданно встречаю Люду в аэропорту Внуково. Наши рейсы отменены до вечера. На юге полоса гроз.

Люда похорошела, носит модную прическу. Узнаю, что она работает участковым педиатром в том же Симферополе. Муж у нее военный летчик, две дочери.

День солнечный, но неяркий, и мы гуляем по аллее среди подмосковных сосен, и кажется мне, что сменили листья на хвою, а аллея та же, что в юности.

Люда удивлена: ты не женат? С тем же нескрываемым любопытством, что в школьные годы, заглядывает мне в глаза, то ли жалеет, то ли радуется.

– И ни разу не влюбился?

– Да нет, вроде. Погляди, Люда, помнишь?

– Что?

– Почти наша аллея. И треп бесконечный – Лиза, Лаврецкий, любовь без взаимности, Феликс. Кстати, где он, что с ним, не знаешь?

– Меня это как-то не интересовало.

– Но он же тебе нравился?

– Феликс? – удивленно, недоверчиво, смеясь, смотрит на меня, – ха, ты что тогда ревновал?

– Когда?

– Ну, когда хвалила его? И ничего не понимал? Господи, прости меня, ты всегда был туп на сердечные чувства.

Она садится на скамью, она не перестает смеяться, на глазах у нее слезы, а я, остолбенев, и вправду ничего не понимая, стою рядом.

– Это так здорово, что мы встретились, – теперь она плачет, вытирает глаза платком, виновато улыбается, – ничего, ничего. Не обращай внимания. Знаешь, мне уже давно так легко не было, как сейчас. Эх ты, лапа-растяпа! Я же тебя так любила, ну, тебя же, тебя! Я улетела в Симферополь, я на первом курсе вышла замуж, чтобы стереть тебя с памяти. Но ты-то, ты? Ни в кого? Это тебе за меня наказание, нет, шучу, – она уже смеется, берет меня под руку, мы идем по аллее.

Как же? Оказывается, под шумной поверхностной волной увлечений, повальной несерьезности, легковесности, которыми, как мне казалось, влекло, волокло всех нас, было и настоящее. И мучительное. И даже трагичное.

Но почему же и я оказался среди легких песчинок, с бестолковой радостью пляшущих на гребне волны, так, что пронесло меня мимо темной и живой глубины, пугающей, но настоящей?

Объявили посадку на Симферополь. Люда совсем повеселела, раздурманилась, шутила, расцеловалась со мной. Она словно бы сбросила на мои плечи груз стольких лет, и стало ей легко, и было радостно, что вот – она может пожалеть ме-

ня, я один-одинёшенек. О, я знаю, как облегчает душу жалость к другому.

Но, кажется, впервые так глухо и печально, почти по-старчески, я жалел себя и думал, глядя на Люду – как она изменилась. Да и о такой ли карьере она мечтала? Участковый педиатр. Она была очень способной девочкой, отличницей, грезилась ей научная работа, открытия.

Как он грустен всегда, этот разрыв между желаемым и действительным – обозначается как-то внезапно на лицах, читается по судьбам твоих сверстников.

* * *

Лежу, вспоминаю, загораю на пляже Шестнадцатой станции Большого Фонтана. Рядом – существо, в котором вся моя жизнь – Анастасия. Но язык не поворачивается называть ее Настенькой. Вокруг поодаль сидят, полулежат, снуют мимо юные создания, длинноволосые, соблазнительные. Они так плавно проносят свои тела и так молодо глядят вдаль, как будто знают наперед всю тайну своей приходящей жизни, как будто всю ее целиком несут перед собой, такую необычную, загадочную, широко и празднично развернувшуюся, как сверкающее под солнцем море с белым замершим кораблем на горизонте. Их словно готовят к этой будущей удивительной жизни, – пестуют, кормят, учат, возят на курорты, но уже где-то закипает, надвигается полоса прибоя,

мутная, беспамятная, скрежещущая камнями и песком, с головой накрывает. И – глядь – замужество или соvrащение, слезы, быт, нелюбимый муж. Дети, измены, привычка.

И, приезжая на море, равнодушно глядят на праздничное пространство с замершим на горизонте белым кораблем, не узнавая в этом своей канувшей в вечность тайны.

Недалеко от меня, справа, ходит дед с лицом старого беркута: маленькие блестящие глазки, глубоко спрятанные среди морщин, впавший рот, и нос, как старый стёршийся клюв. Старик весь изломан – ноги внутрь и кости отовсюду выпирают, ходит вокруг дочки, толстой упитанной бабы в мелких кудельках, с красными краями век, и внучки, такой же кругленькой с уже намечающимся двойным подбородком, этакой «пампушечки», которая искоса бросает на мужчин взгляды. Замуж ей хочется. Народит детей, перенесёт измены мужа, считая, что так должно быть, или, наоборот, станет ведьмой, и превратит мужа в такого, как дед.

* * *

Полоса прибоя-то сплошная, да накрывает кого раньше, кого позже. Живем весело и легко, студенты, почти все капитаны по детскому моему счету, и среди них шутник и гитарист, фехтовальщик Митя Курков – спортивная фигура, небрежный ум, схватывающий на лету. Всё это позволяет судить об ожидающей его незаурядной жизни.

Через четыре года после окончания университета, проездом, навещаю его в Свердловске, куда он был направлен на работу, что же это: растолстел, обрюзг, облысел, чистый приказчик, не хватает лишь золотой цепочки на брюхе, обзавелся семьей, недвижимым имуществом, выкинул за борт гитару и рапиру. Но главное, куда делся ум, тонкий, небрежный? Только и слышишь: выпьем, что ли, закусим, что ли? И не то, чтобы сильно пил. Ест много. Обнаружил страсть к еде. Где же накрыло? Прибой на вид тихий – день ко дню, поработал, попил, поел, к вещам ласково прирастал, как алкоголик в одиночку к бутылке. А оно, время, оказывается, крутило его и волокло во всю. Обтесало прибоем, вышвырнуло, и, глядь, сам себя не узнаешь.

А может именно в этом суть – вращаться в недвижимое? Пока без корней – несет поверх дней. И выходит – все прекрасные качества – ростки перекаати-поля.

Но Солдатенков, скучный, тоскливый – за большое счастье почитал посидеть с краю в нашей компании – на докторскую тянет. Женится. Представляю тягучую тоску его дома, где в него скучные дети, и несчастная жена, если она не в него.

* * *

Думаете – не сложно – прятать зависть под маской жалости?

Швыряйте камешки в море, следите, сколько раз они подпрыгнут на воде.

Это бесполезно-веселое занятие возвращает к самым бесшабашным дням, когда напропалую, бездумно и легко, плывешь на утлых суденышках сквозь студенческие годы.

Кажется, лишь полчаса назад отчалил от родного города.

Вместе с уменьшающейся на глазах пестрой толпой на перроне, среди которой фигурка мамы, серым зданием провинциального вокзала, увитым диким виноградом, – уменьшается, сужается полоска прошлого. И берег его и земля со всем памятным, что произошло на них, с улицами, деревьями, постройками, домом с пылающей щелью на чердаке, обретает, как бы сворачиваясь, более мелкий, трогательно сжавшийся, виновато оскудевший вид. Через десяток-полтора лет всё это внезапно всплывет – в донный час, когда, изо всех сил сопротивляясь этому, судишь сам себя, как палач. Всплывет драгоценными обломками кораблекрушения. И тогда бинокль, хранимый двадцать лет, становится талисманом, осязаемой памятью детства и отрочества, мимо которых торопился, почти бежал.

А пока вагон качает меня, как палуба. И я хожу по нему вразвалку, и с тревожной радостью слежу через окно, как, нахлынув на поезд, замирает залитое асфальтом пространство вместе с приземистым, громоздким, сумрачным вокзалом. И он, словно опустив веки, светит из-под козырьков своими лампами – на асфальт перрона, на пассажиров, – сам

же оставаясь в ночном сумраке, почти сливаясь с ним.

А дальше площадь, шорох листвы сквера, а выше – рассыпаны подрагивающие огни – южная столица, студенческий город, корабль над зеленью парков, сизым лезвием озера, над шумными перекрестками и дремотными уголками. И я стою, как Колумб, ступивший на только что открытую мной землю, и толкают меня в грудь, в спину, тянут – ветры, ветерки, задиристо сшибающиеся лбами, сцепившись, как мальчишки, бестолково и радостно катаются по траве. Несет меня толпа вдаль по проспекту, наталкивая на шумные молодые компании, преувеличенно жестикулирующие и чересчур кричащие, которые непонятно почему весь вечер допоздна спешат то в одну, то в другую сторону, почти бегут, как будто, во что бы то ни стало, хотят достигнуть цели, каждый раз возникающей с противоположной стороны.

Приехавшие из разных мест, еще крепко к нам приросших, мы робко, привыкая, ступаем по новой земле. Мы так неповоротливы и напряжены, словно тянем за спиной, как бурлаки, тяжкую баржу прожитой провинциальной медлительной жизни с неторопливыми повадками, размышлениями с запасом на другой день, ранними засыпанием, домашней пищей в одно и то же время, и чересчур серьезным отношением к тому, что читали и чему нас учили.

Знакомимся. Прощупываем друг друга. Но коменданту общежития и вахтерам недолго остается грезить о райском пополнении.

Пройдет несколько дней, и словно в отместку за долгую размеренную спячку внезапно начинается извержение бесполой активности, сбивающая с ног лава. Носятся как угорелые по комнатам и коридорам, с пыхтением борются, режут джазы под гитару, аккомпанируя себе на кастрюлях, тарелках и ложках, обливают друг друга водой, ночью дерутся подушками, повально курят – общежитие и вправду походит на вулкан – так оно сотрясается и дымится.

В этом бедламе самое удивительное – олимпийское спокойствие коменданта и вахтеров. Знают по опыту: стихия перебесится и сама выдохнется, вулкан угаснет также неожиданно, как и начал извергаться.

С бездумной радостью, словно в водоворот, сам же себя свергаешь вместе с оравой – орешь и поешь, не слыша собственного голоса, бегаешь и скачешь, не чуя ног, дурачишься, не видя как нелеп, если бы взглянул на себя со стороны, спишь, как пушинка, не ощущая тела. И водоворот, затянув на самое дно, разбрасывает нас, как щепки. И тогда вдруг ощущаешь, насколько ты сам по себе – легок и свободен, – и пережить блаженное это состояние можно лишь в одиночку.

Сиротливо умолкшие и слабо освещенные стоят общежития. Разбрелись все по шумным проспектам и сонным переулкам, и каждый сам по себе – стоит, замерев, у фонтана, шатается по парку, присматривается к парочкам, однако зависти большой не испытывает, потому что это – впереди, еще в предвкушении, да жизнь-то еще вся впереди. И это почти

бестелесное парение подобно предчувствию высоких насыщенных дум и громоздко прекрасных дел.

Предвкушаемая тяжесть делает тебя до того летучим, словно ты вышел в море на легчайшем, как скорлупа, суденышке. Лежишь, закинув руки за голову, затерявшись под тополями, густо и сумрачно охватывающими озеро. Долго-долго глядишь в предвечернее небо, слыша издалека, как сквозь слой воды, крики купающихся мальчишек, ленивые переборы электрогитары со стороны Зеленого театра и шелест листьев, подобно обломно идущему от горизонта ливню. И начинает покачиваться палуба земли, так, что надо, раскинуть руки, чтобы удержаться на ней. И плывешь через годы к дальним землям с грузом, который в тебя уже заронили науки о земле – минералогия, кристаллография, палеонтология – и за каждой посверкивающий шлейф минералов, раковин, рифов. И наплывают рассеченные вдоль и поперек до основания – хребты Тянь-Шаня, Памира, Копет-Дага – ледяные кристаллики звёзд на звеняще зеленом буддийском небе.

Пообедав днем в студенческой столовой, пребываешь в убеждении, что раз и навсегда покончил с проблемой еды, и лишь внезапный голод заставляет очнуться на суденышке, которое занесло тебя Бог весть куда.

Встаешь из-под тополей – какходишь на берег незнакомой земли. И те же тополя в пропахших цветами сумерках оборачиваются диковинно рвущимися в небо растениями. И

вот уже целая стая гибких, прыгающих, как обезьяны, электроинструментов в оранжево пылающей раковине эстрады с черными зернами музыкантов, похожей на раскрытый плод граната, неистовствуя в джунглевых ритмах, открывает землю, на которой очнулся.

Совсем приходишь в себя, когда, изнывая от голода, в первом часу ночи рыщешь по всем тумбочкам общежития – нет ли заваливающейся корочки хлеба.

* * *

Близятся тяжкие воды, зимняя серость и сырость.

«Сессия» – слово мягко стелется, да жестко спать на галерах, потому что мы сменили утлые суденышки на галеры – в одиночку не одолеешь.

Раскачиваясь над учебниками и конспектами, как изнемогающие гребцы, стараемся не падать духом. Один из нас, рулевой, шпарит вслух, а мы в такт покачиваемся. Гребём.

Но и галеры не тянут. И мы уходим под воду, лежим на самом дне, на койках, зеленые от нехватки воздуха, исхудавшие от недостатка пищи, примятые невероятным давлением, небритые (это уж и талисман: сдадим – побреемся), почти, как водолазы, ползем к университету в день экзамена.

В момент взятия билета даже оставляешь мысль о спасении, последний глоток воздуха перекачивается в горле.

Но вот рука пишет в зачетке приговор, настолько мягкий,

настолько для тебя неожиданный, и – вылетаешь в коридор – пробкой на поверхность, в один миг из смертельных глубин – в небо. И никакой кессонной болезни, не отнимаются ни руки, ни ноги – только ошеломляющая легкость. И внезапно видишь, что попал в ослепительно солнечный день, в свежо холодящие снега.

И так две полосы – в год, и выбрасывает то в снег, то в зелень.

И вправду никогда более не испытать такой сладости безделья после распластывающего давления, безделья, когда так же отчетливо, почти на ощупь, как ешь, спишь, листаешь книгу, возможны любые начала, любые повороты судьбы. Самые неожиданные и столь же реальные, как поворот улицы или втягивающий в себя весь лапчатый от зелени и мохнатых теней переулочек. И обрушивается на тебя целый обвал истоков, начал, возможностей, также густо и тонко разбегающихся, как волосы – по спине идущей впереди девушки, внезапно исчезающей за углом. Еще долог девичий смех, как будто рассыпают в темноте серебро, приманивают, сбивают, запутывают в криво убегающих переулках.

И вправду, никогда более не чувствовать в окружающем городском пространстве такой корабельной тяги и неустойчивости. Никогда более здания не будут так косо, словно бы кренясь на борт, стремительно выныривать из мглы прямо на тебя, на каждом шагу обнаруживая нетерпеливость и разбросанность твоего взгляда, походки, устремлений, никогда

более не будут оголённые декабрьские парки так вправду казаться скоплением мачт зазимовавших флотилий.

* * *

Воображение было настолько жадно осязаемым, почти хищно плотским, что когда в лиловом, простуженном и все же весеннем небе какие-то рабочие люди ходили по крыше, что-то там, на высоте, ладили или разбирали, казалось, на моих глазах развинчивают механизм зимы. И вся световая, с деревьями, проводами, тенями, циферблатами уличных часов, толпами, ранними огнями в окнах сложность вечера по-сверкивала, двигалась, позванивала трамваями, как стрелки машинного телеграфа, разворачиваясь в весну. И люди, перекликающиеся на крыше, ставили паруса облаков прочно и точно по курсу на солнечные острова весенних дней, облака на глазах надувались ветром, голова начинала кружиться.

О, радужно увеличивающие стекла юности, сила воображения, сфокусированная вами, может заставить дымиться солнечным жаром самое сырое и скудное существование, может вжечься веселым клеймом в самый серый и замшелый быт.

Ощущение починки корабля при виде людей на крыше настолько сильно, что когда через несколько лет в Одессе увижу, как чинят в доке корабль – это покажется бледной копией.

Но настигшая меня, накрывшая с головой и теперь несущая на своих волнах юность странной стороной поворачивает ко мне корабельно-городские фантазии моего детства. С иронией и снисходительностью юноши принимаю чересчур выпяченные и откровенные подобию деталей корабля и города, как наивную дань, которую мне в наследство оставил тот большеротый мальчик, замерший по другую сторону отошедшего времени. Более того, я уже не нахожу в себе человека, рвущегося из растающего в землю города на летящие поверх воды палубы. Я скорее чувствую себя матросом, чей корабль после долгого плавания по изнуряющим душу бесконечным водам, только причалил к берегу, и мачты его торчат за первым встречным домом.

Из общежития гурьбой, с шумом, достаточным, чтобы обратить на себя внимание, мы, студенты, вываливаемся на проспект в любой час первого и второго года учебы и кажемся ватагой матросов, только что сошедшей с корабля, шатающейся по незнакомому, но уже такому милому городу, где никого у нас нет. А так хочется иметь родных, близких, любимых, дом с устоявшимся бытом, твердыми привычками, человеческим теплом, в общем, всем тем, от чего раньше пытались сбежать.

С веселой бравадой задираем городских ребят и девушек, но за бравадой спрятана печаль матроса, которому в долгом плавании и в самых неожиданных местах пустынно замерших вод мерещилась земля. Он знал, что это лишь его же-

вание, и всё же каждый раз, встрепенувшись, взглядывался: а вдруг.

Теперь он здесь, на долгожданной земле. Но, проходя рядом с девушками и парнями, чувствует, что отделен от них той же огромностью вод, хотя стоит рядом. И потому также огромно в нем желание, как хотелось увидеть землю посреди океана, не просто сжать пальцы для знакомства, а схватиться за руки, как схватывают, когда хотят помочь перепрыгнуть с палубы на берег или сбегая на палубу, чтобы и вправду стать рядом, равным и близким.

Шатаемся ватагой и в одиночку – в ожидании этого мига.

И вся еще не начатая, напирющая на плечи юная моя жизнь так рвется в набегающие минуты и наступающие часы, что меня несет по воздуху одной силой жадного восторга ожидания.

Ожидание опаживает меня шумом, голосами, дыханием из-за каждого угла, каждого поворота, тянется ко мне запомнившимся на всю жизнь арбузным запахом срезанной на газонах травы, мерещится в неожиданно прозвучавшем рядом женском голосе, во вспыхнувшем впереди окне: как будто подают мне знак. Ожидание все покрывает, преображает, соединяет: так бесконечные воды делают родственным всё попадающее им на пути.

Мне даже чудится, что иду как в облаке, и, опережая меня, подобно импульсам, летит ожидание участия, случайно сорвавшегося с губ и обращенного ко мне слова, пусть са-

мого незначительного. И я так жду этого, что с готовностью подхватчу и тут же верну давно во мне накопившееся и жаждащее излиться на всех и каждого участие. Слова малозначительные, но самые связывающие, чаще даже бормотание, но смысл в том, что видят глаза: в неожиданном доверии, сумбурных разговорах, молчании.

Обнаруживается непонятная материя, затягивает в свой сентиментально-летучий водоворот. Выпархивает из души, как птица, которую таишь за пазухой, хочешь утаить, а она бьет крыльями, выпрастывается, – летит впереди тебя – любовь. Но она как бы предстоит настоящей, обгоняет ее, сама по себе народившаяся во мне, ни на кого отдельно не обращенная, точно конус света из-под козырька ночного фонаря, изливающийся на всё, что попадает в круг его сияния.

Я готов даже поверить, что любовь возникает в нас сама по себе: это и есть наше «я», самое его ядро: бессознательная жажда распространить любовь на всё вокруг, чтобы – жить.

Не было у меня еще ни женщины, ни друга, ни вещей, дорогих моему сердцу, но никогда острее, чем в те дни, не чувствовал, что – живу. Иначе как понять, что память тех лет, где поступки несвязные, а жизнь – скопление случайных событий, которые должно унести в забвение, как мусор, перед началом истинного прочного существования, – оказалась куда устойчивей, чем всё остальное, влечет к себе с надеждой, что там потерял и отыщу то, без чего разладились остальные мои годы.

Был ли я застенчив? Гораздо ловчее, чем многие мои сокурсники, почти не навязываясь, мог познакомиться с девушкой, подсев на парковой скамейке или за столиком в кафе. Лучше многих танцевал на курсовых вечерах. Но они, мои сокурсники, уже обзавелись историями, интригами, знакомствами, встречами, симпатией и ревностью незнакомых мне девушек с других факультетов, и даже горожанок. Рассказывалось это с многозначительными умолчаниями, там, где предполагались интимные подробности, и все же ничего особенного не ощущалось. И всё это вошло в их жизнь этих лет также привычно, как безделье, пища, изматывающее штудирование и предэкзаменационный страх.

С видом бывалых поглядывали они на мои затянувшиеся детские забавы, становились в тупик: не пускать в дело такой редкий набор отмычек к женской душе – умение играть на гитаре, запросто знакомиться, не лезть в карман за словом, легко танцевать. Вместо этого продолжать бессмысленные шатания, которые оставлены ими в прошлом, или целые вечера терять на балконе полупустого спортивного зала, где тяжким потом добывают себе гибкость, прыгучесть, раскованность, летучесть гимнасты, или, что уже совсем смешно, торчать допоздна над одной и той же пожелтевшей от времени «Илиадой».



Пляжная жизнь, с показательным набором бронзовых тел, с взбитой белизной приборя, излишками солнца и влаги, ослепляющая до черноты в глазах, шумно и медленно вращается вокруг меня. Играют в карты, в шахматы, слушают транзисторы. Знакомятся, заигрывают, едят. Окунают детей, шлепают их, вытирают, уводят в кустики. Читают или просто лежат ничком, кто грудью, кто спиной – к солнцу.

Мы же неразлучны. Не могу представить себе, как раньше был без нее. И здесь, у моря, в отличие от «Незнакомки» Крамского, представшей мне впервые в Питере она скорее подобна «Венере» Боттичелли, выходящей из пены морской. Вдоль берега доходим до архиерейской купальни, так игрушечно, скудно выделяющейся своей пустынностью, глиняными белеными заборчиками, аккуратными деревянными строеньицами, стеклами окошек, лестницами – среди вальяжно развалившегося тяжело шевелящегося хаоса пляжей.

Изредка мелькает среди строений молодой служка в черной до пят рясе, легко взбегает по лесенке. Чудится, еще миг, и лохматая черная птица далекого моего детства замечется среди решеток на колокольне.

Неужели надо поверить в то, что я бездумно плыл через годы, выбрасывая за борт, как балласт, всё, неуклюже складывающееся в мою жизнь. И всё это с единственной целью

добраться до того, что в смутных мечтах вставало искупительным исполнением всех ожиданий души – единственной встречей с единственным существом?

Но то, что случилось на Греческой площади, все же не дает мне покоя. И этот взгляд Светланы, встретившийся с глазами Анастасии, взгляд, в котором ярость смешалась с беспомощностью, и эти глухие звуки, вырывающиеся откуда-то из глубины ее груди. И ощущение невероятной горечи и жалости к Светлане, несмотря на то, что она предала меня, и одновременно любви невыразимой к Анастасии.

Только теперь, вспоминая лица моих сокурсников, с бывалым видом поглядывающих на детские мои забавы, с грустью понимаю, что это я был не ко времени въедливо взрослым, а они скорее походили на ораву молодых щенков.

Мы существовали среди скучной необходимости семинаров, зачетов, лабораторных занятий, выпивок, ухаживаний, более похожих на ритуалы, по которым тебя признают полноценным членом студенческой братии. Но по настоящему удовольствие им доставляли лишь часы, когда они с кряхтением возились, пытаясь побороть друг друга, и могли целыми днями с небольшими перерывами заниматься этим изматывающим делом. Или прыгали, как петухи, на плечи друг друга, или уже в полном блаженстве наполняли комнаты общежития звериными криками – уханьем, мяуканьем, обезьяньим хохотом, лаем и ржаньем – будущие специалисты своего дела, кандидаты наук, главные геологи экспедиций: курс

у нас был способный.

И у всех клички. Вот они, окружили меня.

Добродушный, багровеющий так, что даже белки наливаются кровью, Алька Веселов – «Самовар».

Высокий, почти сутулый Кухарский с тяжелыми надбровьями и веерообразными ресницами, до того черными, будто каждое утро мажет их ваксой, – «Большая кукарача».

А рядом с ним всегда Витёк – руки короткие, как ласты, и движет ими, загребая от груди за туловище, как плывет, круглый, поблескивающий маслинами глаз, – «Малая кукарача».

Короткий, как срезанный, с большой лобастой головой и челюстью американского бизнесмена с карикатуры, – не хватает лишь сигары в уголке рта – хищно летящий впереди своих ног Данька Дубровский – «Кулан».

По медвежьей косолапый, волосы ёжиком, легкомысленно связывающийся в любые споры и потасовки и потом, не в силах выпутаться, просто убегающий – Гринько – «Крак». Худой, с мелкими красивыми чертами лица, длинный, разламывающийся в тазу так, что ноги как бы отстоят от туловища, и потому, кажется, все время ходит как на ходулях, Юра Царёв, будущий мой соперник, часто похрустывает пальцами рук. Отсюда и прозвище – «Тридцать три косточки». Перекат с «т» через «р» на «и» похож на хруст суставов.

У меня клички нет, не пристаёт, чувствую себя от этого

ущемленным. Что-то отделяет от них, относит. Так же, как они, шатаюсь от безделья, корплю на лабораторных занятиях, также ем, что и когда попало. Убегаю на озеро, чтобы побыть одному, и тут же рвусь в толпу. Но за всем этим как бы пребываю в мечтательно сонном оцепенении. Замерев, слежу за собой со стороны, за тем, что делаю и думаю, даже скорее за тенью дел и мыслей, далеко и призывно вытягивающимися тенями. Они словно обозначают темную загадочную глубину, уходящую за всё прочитанное, увиденное, осознанное. Они как будто стягиваются остриями к тому упрятанному, настоящему моему «я», и мне кажется, если так сосредоточиться в себе, сжать себя до стальной твердости и тонкости иглы, – откроется, как гимнастам в поте лица, отпущенная мне раскованность, свобода, летучесть, гибкость. Выходит, я неспроста торчу подолгу на балконе спортивного зала.

* * *

Смешны мне и дороги эти самоуглубления, самоистязания восемнадцатилетнего, начитавшегося благих глупостей, думающего, что если быстро бежать – куда глаза глядят, можно убежать от самого себя. Или хотя бы сохранить мечтательную легкость детства, пытаюсь замешаться среди ахейцев или защитников Трои, – снова забраться в громадное, каждый раз от строки к строке строящее себя здание «Илиады».

Между тем и здесь не укрыться. Замечаешь, что уже потрясает не та медь, чье гладкое, без единой царапины, великолепие отражает блеск солнца, но удары – тупые, колющие, режущие. Не та медь, чей пышно блестящий чеканный рельеф выпукло надвигается на моего отца, близорукого, невоенного.

Потрясает медь после ударов – измятая, пробитая, разодранная, в крови. Ее стаскивают с раненых и убитых: откиннутая рука, раздробленное бедро, оскал смерти, исказивший лицо, в котором жила и дышала красота, врубленная Фидием в мрамор.

«Длиннотенная пика», меч, обод колесницы заменяется пулей, снарядом, танковой гусеницей. А смерть всегда однообразна: ее бледная сукровичная текучая слизь проступает везде сквозь божественный блеск сражений, через пышные гомеровские эпитеты, украшающие героев, как султаны перьев на их шлемах, через велеречивость, звучные имена – проступает, как через марлевую повязку.

С любопытством смертного слежу в зеркале общежитской душевой за человеческим телом, с такой тайной любовью сработанным Богом и природой, за дивной гибкостью рук, плеч, бедер, спины, слаженностью мышц, и слабо гнилостный запах отмывающейся плоти, преследует меня боязнь ранней смерти. Стройность эллинов знающих толк в том, как тренировать тело в гимназиях, подобных нашему спортивно-му залу, пропахшему опилками и потом, с сетками на окнах,

с гимнастами, раскачивающимися на перекладинах, брусьях, кольцах, тонкий ум, пестуемый сонмищем величайших во времени философов, – и всё это в рубку, в хруст, в перегнутой.

Долгий плач, бледный морок, повисший над полем смерти, через тысячелетия настигает меня неоплатным обвинением: матери должны оплакать сыновей, сыновья – отцов. Помню отца моего. Переодевается. Сутулые плечи, кожа такая беззащитно белая, рядом с черными волосами на груди.

Стыдливо скрестил руки на груди, пока мама достает ему рубаху из шкафа.

А живым столько дел. Подлить масло в светильники, подправить виноградную лозу, укрепить ветшающие дома, поддерживать огонь в очаге, чтобы зима была зимой, лето – летом, сон – сном, а еда обильной, чтобы не ослабевал мужской голод, жажда справедливости и доброты. В редкие мои приезды домой мама покупает на скудный свой заработок мясо, овощи, даже бутылку вина, бабушка суетится у плиты, кухня полна пара, а я под снизившимся потолком узнаю, что вырос.

Витёк силой тащит меня к Даньке Дубровскому. Говорит, девочки будут с филологического, очень заинтригованы. Геолог и вдруг читает смертельно надоевшую им «Илиаду». И, главное, не по программе, а – добровольно.

Так говорил – и Патрокл покорился любезному другу.
Сам же огромный он лот положил у огнищного света

И хребты разложил в нём овцы и козы утучнелой,
Бросил и окорок жирного борова, туком блестящий,
Их Автомедон держал, рассекал Ахиллес благородный,
После искусно дробил на куски и вонзал их на вертел...

Энциклопедия эллинской жизни. Атлас вод, земель, деревьев. Кулинария древности. Некрополь убитых и перепись живых. Анатомическое собрание военных хирургов, руководство для воинов, полководцев, героев. Свод страстей того времени, а они в каждом из нас, от яростных до нежных. Наконец, жизнеописания эллинских богов, которые, хотя и жили на Олимпе, отличались далеко не олимпийским спокойствием. Понесло меня, не остановишь, а девочки молчат, а мальчишки чуть свысока на них, – мол, геологи не лыком шиты, а меня заносит, я уже виден отовсюду, сейчас оступлюсь. Убегаю в слова от себя, потому что на виду да еще при девушках меня стесняет присутствие самого себя, цепкое, удушшающее.

Я сейчас оторвался от самого себя, как бегун от настигающего соперника, но зазеваешься – нагонит. И сразу неуклюжесть, бормотание, забывание слов, краска, заливающая лицо, почесывание носа и подбородка – и всё, и не одолеть себя. Ни с кем просто не заговорить, не пригласить на танец. И, кажется, все видят неловкость, которую скрываешь за возбуждением, нелепыми жестами, смехом, делают вид, что не видят, и это еще неприятней.

Говорю-говорю, и мучаюсь, что «Илиада», самое для меня

сокровенное, сейчас вместо завесы. Не захвачен ею, а где-то понизу, почти хищно, вижу всё, что вокруг, – квартиру Даньки, заставленную старинной тяжеловесной мебелью, и в ней – незримое присутствие его уехавших в отпуск родителей. Основательность обжитого пространства объемлет в противовес легковесности общежитского житья-бытья с пружинными койками и пустыми, всегда распахнутыми шкафами, меня и самого Даньку, решительно наставившему на меня свою выпяченную нижнюю челюсть. У окна стоит Алька Веселов – «самовар». Соседство девиц не дает ему согнать багровость с лица. Рядом с ним – лоснящийся улыбкой Витёк. По комнате бегают Света: цыганские глаза, черные – по спине и плечам – волосы, как будто тоже хочет оторваться от себя, выскочить из волос, из кресла, в которое на миг запрыгивает, и тут же сбегает на кухню, обдав меня дыханием, навязчивой благосклонностью, одеждами. По секрету: Данька «наметил» ее мне. Чувствую, небольшую комнату стягивает, выгибает незримое поле напряжения. Пересекаются, стягиваются, отталкиваются, колеблются желания, взгляды. Алька сжался, до того не смотрит на светловолосую, с круглым крестьянским лицом, Тату. Данька, сидя верхом на стуле, изредка бросает тело вслед взгляду на Аню. Витёк лоснится в сторону Нины. Аня, по-моему, пускает пробные взгляды на Альку. Света просто вырывается из себя – ко мне. И все мы, как альпинисты, связаны веревкой. Одна лишь Нина сама по себе, выпадает, молчит, смотрит на меня или на то, что ви-

дится ей за моими словами. Она – якорь. Хватаюсь, что-то говорю, сажусь рядом, как вырываюсь из поля, бьющего током. Замолкаю.

И сразу – в обозначившуюся брешь молчания – знойно-аргентинское, «Риорита», шарканье по полу. Данька тигром прыгает к Ане, хватает, напористо наступает на нее короткими ногами, длинным туловищем, словно тянет на себе танец. Витёк лоснится в цыганских лапах Светы – угораздило же пригласить ее – умоляюще смотрит на Нину. Тата учит танцевать Альку, которому уже на всё наплевать, потому что дальше багроветь некуда. Я сижу рядом с Ниной, глупо улыбаюсь. Смотрим на танцующих, молчим.

Потом – стаканы, тарелки, дымится картошка. Жареная колбаса, бессмертные сосиски, соленые помидоры из магазина, дешевое вино. Я подаю Нине стакан, и она пьет, и я пью, и мы пьем, и вдвоём молчим, и все говорят, и до нас никому дела нет. Только Витёк и Света бросают взгляды: он – умоляюще лоснящиеся, она – обжигающе презрительные. А мы сидим, как отделённые, но не обделенные, и я пью и каждому улыбаюсь, но еще могу себя сдерживать. Я знаю – еще чуть-чуть, и умильная, переполняющая меня ко всем любовь прорвется, и я стану, как дурашливый пёс, который лезет напропалую ко всем и каждому целоваться, его отталкивают, на него злятся, но его не сдержать. Боюсь сорваться, вот-вот, уже улыбка растягивает мне рот, как младенцу, пускающему пузыри. А Нина берет из моих рук вино и хлеб, молчит

и смотрит на меня незамутненным, недвижно доверчивым взглядом, улыбается.

Снова ревёт «Риорита». Вездесущий Данька напористо и с разных сторон шепчет мне:

– Девка, клад, – подмигивает. Кричит ей: – Правда, Нина?

Нина закрывает глаза, кивает, а я хочу услышать ее голос. Я только слышал, когда она сказала, знакомясь – «Нина», увидел ее красивое, чуть плоское лицо. Глаза глядели на меня так прямо, что захотелось зажмуриться, но взгляд был отрешен, даже инертен, легко поддавался более упорному моему взгляду, когда я на миг уставился ей в зрачки. «Нина», сказала она, и меня поразила игрушечно мелодичный голос, как звук детской музыкальной шкатулки. И до сих пор у меня такое ощущение, что мелодии готовы в ней всегда. Надо лишь раскрыть рот, и они приходят в движение, вырываются. Она молчит и может долго молчать, потому что прислушивается к ним, и улыбается, а мелодии внутри нее, только ей слышные, текут-переливаются.

Беру ее за руку, и мы выскальзываем в коридор в тот момент, когда Витёк бросает упрёк Даньке:

– Ты виноват, кулан!

– Сейчас как врежу! Без кличек, – проносится Данька наискосок, из кухни в комнату. Мы сталкиваемся в дверях. Витёк прячется в туалете. В мое пьяное сознание надолго врежется полоска света, прихлопнутая дверью.

На дворе теплынь, недвижная ночь раннего октября, горь-

кая печальная свежесть опавших листьев. И вся дурашливая жажда излить охватывающие меня чувства выписывает мною вензеля, захлестывает: смеюсь, дурачусь, обнимаю её, – она вдруг прижимается...

Я сбит с толку, даже испуган. Обнимаю, но весь напрягся, как будто с одной стороны вздернули на дыбу. Несу околе-сицу:

– Я знаю, Нина, у тебя нет отца. Правда? Как у меня...

Ох, как рано я его лишился, в этом вся беда. Так хочется тоже иногда прижаться, навязаться на ласку, как псу, умильно полаять, повизгивая, повилять хвостом. Я балдею от му-чающей меня пронизательности:

– Молилась ли ты на ночь? Но кто Отелло? Я знаю, тебя кто-то обидел, да? Обманул? Весь мир не мил, и нет сочув-ствия..

– У меня есть папа и мама, – голос её так неожиданно чёт-ток в окружающем меня сумбуре, бесстрастен, как фарфоро-вый изолятор. И смех тотчас как бы отделяется от нее, стоит, замерев, рядом – внутри себя музыкой. Отрываюсь от нее, соображаю, топчусь перед ней:

– Папа? Какой папа? Причем тут «папа – мама, что мы бу-дем делать? Одесские частушки. Теперь точно вижу, на кого она похожа: на Мальвину из «Золотого ключика», даже во-лосами так потряхивает – кукольно.

Но глаза, – и в ту ночь, и в другие дни, когда приходил за ней, и мы гуляли, и говорил только я, а она молчала. Глаза, сразу и до дна распахнутые, как отдельно живущие, как будто вздрагивающие от каждого удара сердца, глаза рвутся ко мне, умоляюще отвергают, как непреодолимую, навязанную вместе с жизнью, – фарфоровую музыку голоса.

И в них, глазах, – такая вся без утайки доверчивость, и она с такой безнадежной радостью отдает мне эту свою доверчивость, всю целиком, торопясь, наперед того, как узнает, что я могу быть безжалостным, обманщиком, что могу сбежать от ненужного, такого серьезного и тяжкого, что хотят мне всучить. Она как будто уже знает, что это и случится, и потому еще более торопится, а дальше – будь что будет, что когда бывал с ней или о ней думал, чувствовал себя виноватым. Злился. Взвалить на меня свою доверчивость, отделаться от нее. А мне-то каково?

Может ли чувство вины быть любовью? Вряд ли. Иначе бы не раздражала меня озабоченность: зайти к ней вечером, вывести погулять на проспект. Мы сидели допоздна в парке, обнимались и целовались, но я все время мучился, что делаю недозволенное.

Раньше, выйдя ватагой на проспект, мы грезили себя только что вернувшимися на берег матросами. За нашими спи-

нами – дальние земли. Мы загадочно поглядывали на проходящие парочки глазами, полными обещания, а, в самом деле, чертовски им завидовали.

Но вот я – по другую сторону, и гуляем вдвоем, и я зави-
дую ватагам, шумно катящимся мне навстречу: у них-то еще
все впереди. А я-то, я – и никто, главное, не обязывал, сам
– головой в петлю.

* * *

Как-то встретил вечером Светлану. Она неслась по влаж-
ному после дождя асфальту, театрально покрытому желтыми
листьями, неслась впереди цыганских своих волос и длинно-
го зеленого пальто, независимо и в то же время призывно по-
глядывая на встречных мужчин. Увязался за ней, и она, шу-
рясь на меня, всем видом давала понять окружающим, что
я за ней увязался. После дождя вечерние огни подрагивали
свежо и прохладно. Света болтала без умолку, не глядя на
меня, а словно обращаясь к прохожим. Протянула каприз-
ным голосом:

– Про-о-голода-а-алась!

И мы сидим за столиком кафе, на свету и шуме. Мелькают
явно знакомые лица. Светлана не может усидеть, вертится,
кому-то машет пальчиками, небрежно поглядывает на меня:

– Не боишься?

– А что?

– И не знаешь? Пропаций ты человек. Нина по правде тебя любит.

– Хо.

– Ты мне начинаешь нравиться. – Она откидывается на стуле, смеется, показывая белые зубы, потряхивает волосами. Оборачивается, кому-то грозит, хмурится, кусает губы, снова кому-то машет растопыренными пальчиками, вдруг замирает – не мигая, глядит мимо меня, уставившись в одну точку.

– Ну-ну, – говорю, – так я тебе начинаю нравиться?

– А Нинка, – говорит она, – по правде тебя любит.

Вскакивает, обдавая меня ветром зеленого своего пальто, быстро идет между столиков, покачиваясь, бросая во все стороны взгляды, оборачивается, так, что натыкаюсь на нее, оглядывает всех, говорит:

– Влюбиться тоже, что ли, – смотрит на меня без всякого интереса. – Прощай! – выбегает в ночь.

Дело серьезное, да как быть? Нина-то по правде...

* * *

Можно позавидовать, как легко Витёк, лоснясь улыбкой во все стороны, катится по жизни. Закатится к нам в комнату, и до оупения режутся с Кухарским в подкидного, переговариваются, как будто меня нет.

– Да не будет! Сам подумай: картишки и «Илиада». Ви-

дишь, спит над ней. Она у него вместо снотворного.

– А любоф, – хихикает Витёк, – куклу его видел? Встряхнуть надо, книзу головой нагнуть, может и скажет «Ма-ма». Не захочешь – уснешь.

Что он знает про Нину, трепач, лишь бы языком почесать. Лениво огрызаюсь:

– Заткнись.

– Ишь, как даму защищает, – говорит Кухаре кий, не отрываясь от карт. Витёк хихикает:

– Даму? Какая дама? Дура набитая, выкатит на тебя глаза..

– Заткнись, – бросаюсь к нему, получаю – кулаком в нос, ошеломленно гляжу на свои ладони в крови, бью его в подбородок, Витёк падает, ударяется головой в угол койки.

Кухарский его держит. Сбежались ребята. Витёк сипит, рвется ко мне, плачет:

– Тварь! Защитничек! Оскорбился. А с другими шляешься, тварь двуличная. Светочка, Ниночка, угодничек дерьмовый..

Я лежу на койке, запрокинув голову, кровь из носа не перестает, и так неловко, стыдно, как будто насильно раздели меня, швырнули на койку. И как впервые вижу оголенность, скудость комнаты, облупленные стены, скомканные потертые одеяла, на столе неубранные куски хлеба, невымытые стаканы, затекшие от сна любопытствующие лица ребят. А Витёк всё плачет, уже в коридоре, ругается. Я закрываю глаза, мотаю головой, только этого не хватало: душат слезы. И

одно перед глазами: с Ниной выскальзываю в данькин коридор, Витёк прячется в туалет. Полоска света, прихлопнутая дверь. Испуганное, виноватое его лицо, и – полоска света, прихлопнутая дверь. Надо кончать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.